

ЮРИЙ ПИОНЕРОВ

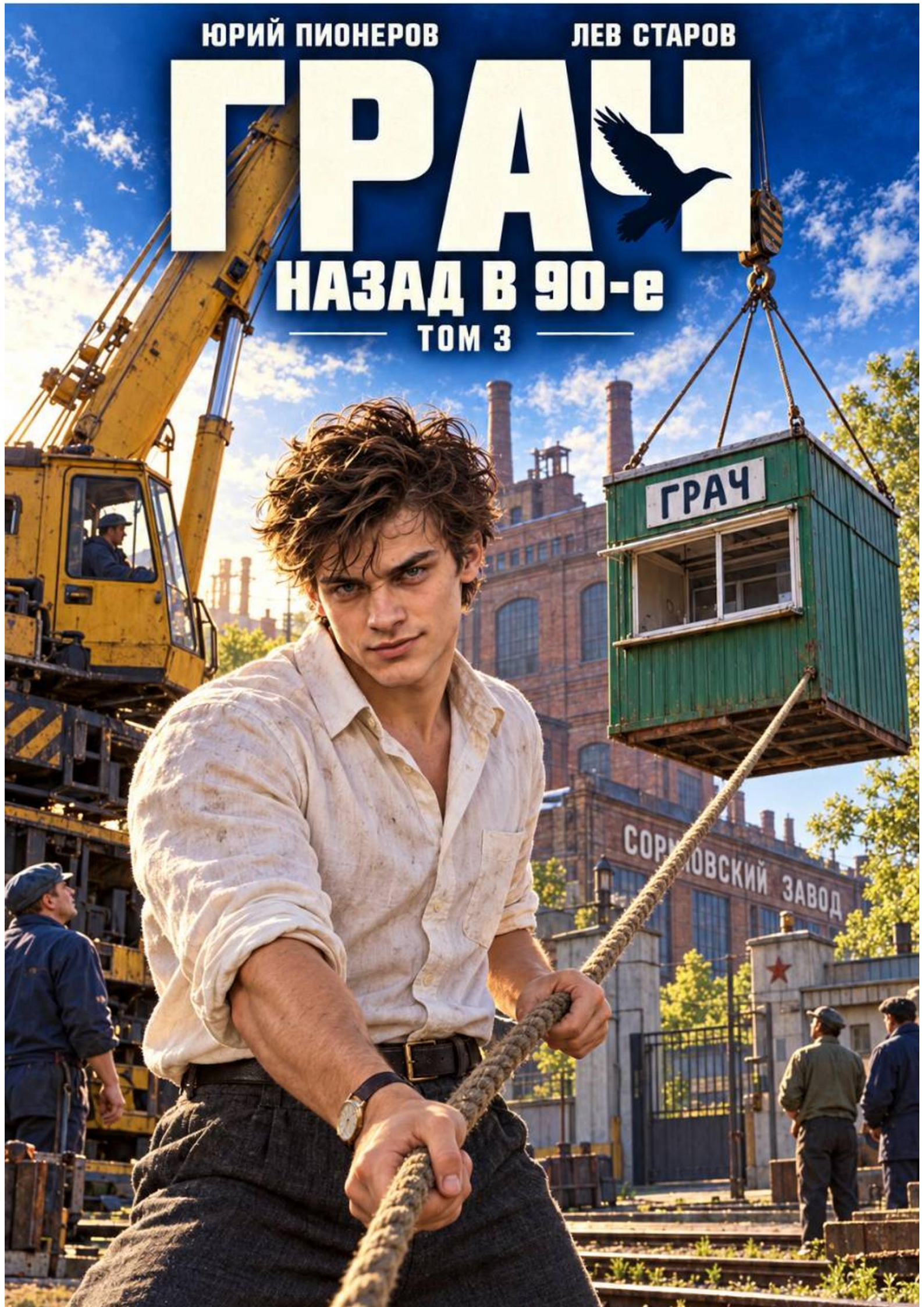
ЛЕВ СТАРОВ

ГРАЧ



НАЗАД В 90-е

ТОМ 3



Юрий Пионеров
Грач. Назад в 90е Том 3

«Автор»

«Автор»

2026

Пионеров Ю.

Грач. Назад в 90е Том 3 / Ю. Пионеров — «Автор», «Автор», 2026

В день своего пятидесятилетия Данила Грачёв отдал за кекс последнюю мелочь: его торговую империю забрали люди, которым он доверял. А утром он проснулся двадцатилетним. На кухне мать печёт пирожки, отец бережёт девять тысяч на «Жигули», за окном — ноябрь 1991-го. Через пятьдесят два дня эти деньги почти ничего не будут стоить. Данила знает, что случится с ценами. Но знание не купишь в магазине и не предъявишь вместо денег. Есть дембельские триста рублей, голодный друг Бугай с плечами грузчика и сестрёнка, которая требует расписку даже за четырнадцать рублей. Есть ещё отец: он лучше доверит сыну сварочный аппарат, чем семейные сбережения. За несколько недель Даниле нужно превратить эту горсть рублей в дело, которому поверит отец. И сделать это на рынке, где каждый удачный товар замечают быстрее, чем успеваешь пересчитать выручку. Успеет ли Грач занять своё место — прежде чем его займут другие?

© Пионеров Ю., 2026

© Автор, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	15
Глава 4	20
Глава 5	25
Глава 6	29
Г	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Грач. Назад в 90е Том 3

Глава 1

Дверь гастронома за моей спиной открылась, и вышел Прибор, один, без Тамары, поигрывая ключами. Я думал, он пойдёт к «Ниве», которая стояла у крыльца в тени тополя, а он пошёл за мной: «ждать» было Калениково, а у Прибора с января было своё. Я дошёл до ларька, и в очереди у окошка баба Зина схватила меня за рукав.

— Данечка, — зашептала она, косясь на Прибора и втянув меня за рукав ближе к окошку, — этот, с фиксой, за тобой идёт от самой Тамары. Я из очереди видела, как он из гастронома выскочил, будто за бутылкой. Ты с ним поосторожнее: фикса золотая, а душа как пустой кошелёк.

— Знаю, Зинаида Фёдоровна.

— Знаешь, а сахару мне всё равно первой отпусти, я стою.

Прибор дошёл до ларька и остановился у окошка, посмотрел на полку, на ценники, на Шайбу. У окошка стояла очередь: четыре бабки из нашего сорок шестого, после обеда, за сахаром и чаем, с сумками и бидонами, и первой баба Зина, с клюкой, в летнем платке. Человек Каленика, который утром ставил пацанов спиной к окошку, теперь хотел, чтобы окошко обслужило его первым.

— Сеня, — сказал я и кивнул на конец очереди, чтобы видела вся Коминтерна. — Вот в конец очереди и вставай.

Баба Зина обернулась с клюкой и посмотрела на Прибора сверху вниз, хотя была ниже его на голову, как смотрят на кота, залезшего на стол.

— Вставай, вставай, милоч, — сказала она и постучала клюкой об асфальт. — Тут все стоят.

Прибор стоял у окошка секунду. Две. Потом отошёл и встал в конец, за четырьмя бабками, под июньским солнцем, в светлой рубашке, у которой уже темнели подмышки, поигрывая ключами от «Нивы». Бабки впереди него не торопились.

— А сахар сегодня почём? — допрашивала Зина Шайбу, загибая палец на каждый вопрос. — А вчера почём был? А почему вчера дешевле? А у Тамары почём? Я тебе, милоч, вот что скажу: у Тамары недoves, я гирьку с собой ношу.

Вторая бабка считала мелочь, третья вспомнила, что забыла, чего хотела, и пошла советоваться с четвёртой. Прибор стоял. Человек Каленика стоял в очереди в мой ларёк, под окнами всей улицы. Халва ему нужна была настолько, что он стоял в очереди у пацана, а значит, не для себя: Прибор халву не ел, у него была золотая фикса и, говорят, диабет.

Очередь дошла. Прибор встал к окошку.

— Три пачки, — сказал он и показал три пальца. — Восточной.

Шайба достал три пачки.

— Для кого? — спросил я негромко, при Шайбе, и придвинулся к окошку.

— Не твоё дело. — Прибор положил на полку деньги по цене, висевшей на ценнике в окошке, мелом, рукой Бугая, и постучал пальцем по ценнику. — Три пачки. Деньги вот.

Я положил ладонь на три пачки.

— Тогда цена для жён хозяев. Вдвое.

Фикса у Прибора спряталась, а ключи от «Нивы» хрустнули у него в кулаке.

— Ты что, — выдавил он, и желваки у него зашевелились, — совсем?

— Для кого, Сеня?

Баба Зина, отойдя с сахаром на три шага, остановилась и слушала, и остальные бабки тоже. Такое на Коминтерна бывает не каждый день.

— Жене Деда! — сорвался Прибор и стукнул кулаком по краю окошка, со злостью, чтобы сбить цену и показать мне, наглому пацану, на кого я руку поднимаю. — Жене! Ей понравилась, что в мае с Сормовского рынка приносили! А ты вдвое дерёшь с Каленика? Ты вообще понимаешь, с кого дерёшь?

Он сказал это на всю улицу. Баба Зина открыла рот. Жена Каленика ела мою халву: в мае кто-то принёс ей с Сормовского рынка пачку из моего ларька, из того, где стоял Батон до ухода, и ей понравилось. Хозяйка города хотела грачёвской халвы, и хозяин города посылал за ней своего человека в очередь к пацану.

— С жены Каленика вдвое, — сказал я и постучал пальцем по пачкам. — А с Каленика по опту. Ты утром видел.

Прибор смотрел на меня. Потом вынул из кармана деньги, доложил вдвое, до рубля, и швырнул на полку. Шайба завернул три пачки в газету «Сормович», вчерашний номер, и подал в окошко. Прибор взял халву в газете, пошёл к «Ниве», не оглядываясь, сел, хлопнул дверью и уехал. Баба Зина смотрела ему вслед, потом повернулась к бабкам.

— Сенька-то! В очереди стоял!

И засмеялась, мелко, счастливо, как смеются, когда наконец увидели то, чего ждали двадцать лет.

— Данила, — тихо сказал Шайба и высунулся из окошка, — это чего сейчас было? Человек Каленика в очереди стоит и халву берёт для жены?

— Это было письмо Каленику, Шайба, — ответил я и постучал пальцем по полке. — Крупным почерком. На всю Коминтерна.

К вечеру это знала вся Коминтерна, к ночи весь сорок шестой и сорок восьмой. Я слышал с лестницы, как Зина рассказывала кому-то во дворе в третий раз, и в третий раз Прибор стоял у неё в очереди дольше, чем в первый. Каленик ел мою халву: не сам, а его жена, но хозяйка в доме Каленика составляла половину Каленика. Он платил за мою халву вдвое через своего человека, ждал и велел ждать всем.

— Значит, так, — сказала Машка, положив перед собой тетрадку. — Двадцать первое апреля, вторник. Семь сорок. Носок. Надорванная. Я записала.

В восемь вечера было жарко, окно на кухне стояло открытое, во дворе стучали костяшки домино: мужики с первого этажа доигрывали партию, и кто-то кричал «рыба!». «Рубин» в зале молчал: до восьми был Машкин час, но Машка сегодня выбрала кухню. Батя сидел в майке и пил чай из стакана в мельхиоровом подстаканнике с «Кремлём» на боку, мать мыла посуду.

Утром, после Прибора, я встретил Машку во дворе, когда она шла в лагерь.

— Можно, — сказал я, и Машка подняла на меня глаза.

Она остановилась.

— Всё можно?

— Дома. Маме, бате. Больше никому.

Машка кивнула серьёзно и пошла в лагерь, и косы у неё подпрыгивали. Два месяца она молчала: ни маме, ни бате, ни Саньку. Санёк называл её доносчицей, а она молчала. В субботу я уйду к проходной: кран батя договорил на субботу. На неделю, может, на две я буду там с утра до вечера, а у школы останутся её глаза.

— Апрель, — продолжала Машка, заглядывая в тетрадку, где у неё были записаны даты, время и слова «в носок», «ПЕРЕРЫВ», «к зубному (врёт)», водя пальцем по строчкам. — Носок. Надорванный угол. «Жвачку выкину в лужу». Семь сорок. «Перерыв» и два часа у зубного. Два месяца записей, вот! Я сама вела!

Батя слушал, поставив стакан. Мать повернулась от раковины с тарелкой в руках. Когда Машка кончила, батя хлопнул ладонью по столу так, что стакан подпрыгнул в подстаканнике.

— Вот кто сторож! — сказал он мне и показал пальцем на Машку. — Двенадцать лет, и вора видит! А ты, умный, со своими бандитами! Дай ей ключ от ларька. Пусть смотрит, когда этот ваш Эдик шляется.

— Двенадцать лет! — вскинулась мать, и тарелка у неё в руках задрожала. — Ключ от железа с деньгами? Паша, ключ от денег ребёнку? Не дам!

Я смотрел на Машку, а Машка смотрела на меня: щербинка между зубами, глаза горят. Её глаза у кассы я брал, а одну её туда отпускать ни за что: двенадцать лет, Шнурок, Вадик за Шнурком, Кузя за Вадиком. Я снял со своей связки запасной ключ от ларька у школы, висевший там с апреля.

— Держи, — сказал я Машке и протянул ключ. — На подмену.

— Ой, господи! — ахнула мать и прижала ладонь к щеке.

— Открываешь только когда рядом Толян, — продолжил я и загнул палец, обращаясь к Машке. — Без Толяна не трогаешь. Эдик ушёл, ты не открываешь. Ты смотришь. Когда ушёл, когда вернулся, с чем ушёл, с чем вернулся. Всё в тетрадку.

Машка взяла ключ и держала его на ладони, как медаль. Мать посмотрела на меня, потом на Бугая, который стоял в дверях кухни со стаканом компота. Бугай кивнул, медленно, серьёзно, как на присяге.

— Только при Толе, — сказала мать, вытерев руки о фартук и глянув на меня поверх плеча, сдаваясь.

Машка побежала в свою комнату и вернулась со шнурком от ботинка, продела его в ключ, повесила на шею, под футболку, прижала ключ ладонью сверху и проверила: на месте.

— Завтра в шесть, — сказал я батю и оглянулся на окно во двор, — ставлю шестой ларёк у проходной. К пересменке. К трём часам.

— Кран на субботу, — сказал батя и посмотрел на меня. — Я с водителем договаривался. Ты чего торопишься?

— После сегодняшнего, батя, ждать до субботы нельзя, — ответил я и придвинулся к столу. — Тамара просит Каленика, Каленик велит ей ждать, но Каленик ест мою халву и получил ящик с цифрой мелом, и никто не знает, сколько он будет велять. Надо встать у проходной, пока велят.

Батя взял стакан.

— Тамара, — сказал он и повернулся ко мне всем корпусом. — Тамара двадцать лет кормит завод из гастронома. Двадцать лет, Даня. У неё грузчики здоровые, шофёр с фургоном, за спиной у неё, мужики в курилке говорят, Канавино. А ты пацан с железным ящиком.

Он сказал это не со злостью, а с тревогой. Первый раз в жизни я слышал, как батя тревожится за меня вслух. Про Тамару он был прав, и спорить я не стал.

— Батя, — сказал я и положил ладонь на стол. — Сварщикам обещано горячее. В феврале. В курилке. Слово при тебе.

Батя молчал.

— Лямин с дядей Саней с февраля ждут. Витёк ждёт. Жилину десять обедов. Кузьмичу первый пирожок, за насмешку. Пять месяцев, батя. Я им обещал, при тебе обещал. Ты сам слышал, батя.

Батя сидел и смотрел в стакан. Во дворе кто-то снова крикнул «рыба!», и мужики заржали. Потом батя поднял голову.

— Кран утром будет, — сказал он и повернул стакан в руках. — В шесть. Я с Михалычем договорюсь, он мне с зимы должен. — Он помолчал. — Я сам своих к окошку подведу. Первыми.

Он встал, допил чай стоя, поставил стакан в раковину, рядом с материнскими тарелками, и пошёл в зал. Было восемь. Батя щёлкнул тумблером «Рубина», смотрел хоккей недолго, уснул

на диване перед экраном в половине одиннадцатого, и мать накрыла его простынёй и выключила «Рубин». Батя проснулся и сказал:

— Номера видно.

И уснул снова.

— Мам, — сказал я и придвинул стул к столу. — Испеки пирожков. Сто штук. К трём.

В половине двенадцатого на кухне было тихо. Батя храпел из зала по-хоккейному, с разгоном, с паузой, с вбрасыванием. Машка спала с ключом на шее, я заглядывал. Бугай курил на лестнице. Мать ставила тесто, не на продажу, а на завтра, для дома, на пироги к ужину. «Бирюса» гудела у двери, белая, с морозилкой наверху, и мать протирала её каждое утро тряпкой, хотя протирать было нечего. Горячее нужно было завтра, к трём часам, к пересменке: сварщикам обещано, Лямин ждёт, Кузьмич ждёт, Жилин ждёт.

Мать перестала месить, вытерла руки о фартук и повернулась ко мне.

— Нет.

— Мам...

— Со своей кухни, — перебила мать и выпрямилась, — соседям-сварщикам пирожки продавать? Даня. С Лямином я на одной лестнице здороваюсь, у него жена в нашем цеху на раздаче. С Ерохиным я в профкоме. Мухин мне на свадьбу бидон мёда принёс, в семьдесят первом, когда тебя ещё не было. Я им пирожки продавать буду? Из своей кухни? За деньги?

Она стояла у стола, руки в муке, коса вокруг головы, седые пряди на висках.

— Я не торговка, Даня, — сказала она и показала ладонью на тесто. — Я повар.

— Двадцать лет у плиты, — добавила она тише и опустила глаза на стол. — Мои пирожки весь сварочный цех ел, и никто мне за них не платил. Платили в кассу столовой, по прейскуранту.

— По прейскуранту, — повторил я и посмотрел на тесто. Горячее нужно было завтра, и нужно было, чтобы мать осталась поваром, а не торговкой.

— Мам, — сказал я и шагнул ближе. — А если не ты?

— Что не я? — прищурилась мать и упёрла ладонь в край стола.

— Столовая, — сказал я и загнул палец. — Твоя столовая. После обеденной раздачи, с половины третьего, печи у вас пустые. Две печи. Поварихи пекут из своих продуктов, в заводской печи, по штучной цене. Я забираю горячими к трём, у калитки, и плачу каждой поварихе в руки за каждый пирожок. Ты не продаёшь, мам. Ты сводишь меня с Галиной Сергеевной. Девочки заработают. А ты повар, как была.

Мать смотрела на меня долго. Потом на «Бирюсу», белую, с морозилкой, которую купил сын. На банку с мукой на полке над плитой. Долго молчала.

— Завтра в семь, — сказала она наконец и кивнула сама себе. — Поговорю с Уткиной. Если Галина скажет нет, значит, нет. И больше ты ко мне с этим не подходишь.

— Договорились.

Мать повернулась к столу, посмотрела на тесто, которое месила для дома, и постояла. Потом сняла с полки вторую миску, большую, эмалированную, отделила половину теста и накрыла полотенцем. Достала из холодильника мясо, которое купила сегодня на рынке, и лук, и стала крутить мясорубку, привинченную к краю стола. Мясорубка скрипела.

— Это что, мам?

— Это на пробу, — сказала мать, не оборачиваясь и продолжая крутить мясорубку. — Галина без пробы ничего не решает. Утром понесу. Если скажет да, а печи только с завтрашнего дня, так хоть первую партию из моего сделаем. Чтобы твои сварщики завтра не стояли голодные у пустого окошка. Позор-то на меня.

Она крутила мясорубку, фарш лез из решётки красными червями в миску, и она резала лук и слёз не вытирала: от лука. В половине первого она поставила в «Бирюсу» миску с тестом

под полотенцем и миску с начинкой, закрытую тарелкой, и закрыла дверцу. «Бирюса» загудела громче, как будто довольная.

— Спать иди, — сказала мать и кивнула на темный коридор. — Завтра у тебя кран.

Она ушла спать, а я сел на подоконник. Окно было открыто, со двора тянуло жасмином: у третьего подъезда цвёл куст, который посадила Мария Ивановна лет пятнадцать назад. Над гастрономом Тамары горел фонарь, жёлтый, у крыльца, где сегодня Мария Ивановна отдала мне буханку. Ларёк на Коминтерна светился окошком: Колян стоял на ночной. В конце гаражного ряда, под брезентом, стоял шестой ларёк, и с подоконника был виден край ряда: фонарь у сторожки и под ним белый горб брезента. Под брезентом скрывался зелёный ларёк с кривыми белыми буквами «ГРАЧ», которые Бугай вывел в мае, стоя на ящике. Через пять с половиной часов его поднимет кран.

Я сидел на подоконнике и смотрел в тёмный двор. Мне было двадцать лет. У меня были пять ларьков, бригада бандитов за прилавками, сестра с ключом на шее, мать, которая крутила мясорубку в полночь, и отец, который сказал «первыми». А у проходной завтра меня ждал завод.

— Этот, что ли, гроб? — Михалыч высунулся из кабины крана, посмотрел на брезент в конце гаражного ряда и сплюнул на шпалы.

В шесть утра двадцать четвёртого июня солнце стояло над крышами цехов уже два часа и грело бетонный забор так, будто собиралось расплавить его к обеду. Гастроном за путями спал: на двери висел замок, над крыльцом горел забытый фонарь, жёлтый и бесполезный. Кран пришёл с участка своим ходом и переваливался на рельсах, как утка.

— Этот, Михалыч, — сказал я и махнул рукой в сторону брезента. — Зелёный.

Мы с Бугаем стянули брезент. Шестой ларёк стоял на досках, свежий, с кривыми белыми буквами «ГРАЧ» над окошком. Бугай выводил их в мае, стоя на ящике, и у «Р» хвост ушёл вниз, как будто буква поскользнулась.

— Буква у тебя упала, — Михалыч ткнул чёрным пальцем в «Р» и сплюнул под ноги. — Перекрасить надо.

— Батя то же говорил, — сказал Бугай и задрал голову на букву. — Переделай, говорит. А я ему: живая буква.

— Живая? — Михалыч обошёл ларёк кругом и покачал головой. — Живая пусть сама и держится. Я за неё стропы не беру.

— Она держится, Михалыч. Я её три раза пальцем проверял.

Так буква и осталась живой. Стropы легли под днище. Михалыч взял на себя рычаг, трос натянулся, железо вздрогнуло, скрипнуло и пошло вверх, покачиваясь над гаражами, над бурьяном, над тропой. Я держал оттяжку. Верёвка резала ладони. В первой жизни я держал в руках договоры на сто миллионов и не помнил ни одного так, как помню эту верёвку. Ларёк плыл по воздуху через пути, над двумя рельсами, блестящими на солнце, и под ним на шпалах лежала его тень, квадратная, как заплатка.

Глава 2

— Майна помалу! — крикнул я, перехватив оттяжку покрепче. — Помалу, Михалыч! Ещё! Стоп!

— Ты мне про майну не рассказывай! — Михалыч высунулся из кабины по пояс, и рука его легла на край окна, кепка у него съехала на ухо. — Я на этом кране семнадцать лет майну, а ты верёвку держишь второй раз в жизни! Гляди на оттяжку, а не на меня, а то снесёт башку вместе с «Грачом»!

— Гляжу! Левее, золотой ты мой, на ладонь левее! Стоп!

Железо село на шпалы у заводского забора, в двадцати шагах от машинных ворот. Оно качнулось раз и встало дверью на пути и гаражи, окошком на проходную, ровно так, как я ставил его ночью в голове, сидя на подоконнике, когда кухня пахла жасмином и мать крутила мясорубку.

Михалыч вылез, обошёл ларёк и постучал костяшкой по боковине.

— Паша твой варил?

— Паша и его люди.

— Шов хороший, — сказал Михалыч и постучал костяшкой ещё раз, одобрительно, и это было больше, чем «спасибо».

— Тогда бутылка за мной, — сказал я и протянул ему руку.

— Бутылка за тобой, когда простоит год, — Михалыч полез обратно в кабину, придерживаясь за дверцу. — Раньше не пью, примета такая.

— Простоит год, поставлю две.

— Две не надо. Мне одной хватит, я человек скромный, — крикнул он из кабины и тронул кран с места.

В половине седьмого пришёл Гирия. Белый фартук поверх спортивного костюма, ведро, тряпка. Он вымыл окошко, изнутри и снаружи, потом расставил на полке чай, сахар в кульках, сушки связками, пачки «Беломора» для мужиков.

— Горячего нет, — доложил он, загибая пальцы. — Раз — чай. Два — сахар. Три — сушки. Четыре — «Беломор». Пожалуйста. Я считал дважды, Грач, горячего нет.

— Горячее будет в три, — сказал я и оглянулся на заводскую площадь. — Оно лежит в «Бирюсе» у матери, а к этому часу мать несёт его в руках к Галине Сергеевне Уткиной.

— А если спросят? — Гирия положил тряпку на плечо и выглянул в окошко. — Что им говорить?

— Говоришь «в три». И улыбаешься.

— Улыбаюсь, — повторил Гирия. Он улыбнулся, и я пожалел, что велел. — Пожалуйста.

Без десяти семь пошла утренняя смена. Люди шли мимо тесной толпой, в кепках, с сумками, с газетами под мышкой, и косились на зелёное железо.

— «Грач», — прочитал вслух мужик в кепке и остановился. — Это что, фамилия или птица?

— Обеденная птица, отец, — сказал я и постучал по окошку. — В три часа прилетает с пирожками.

— С каким мясом? — мужик хмыкнул и подбоченился. — У нас в столовой мясо последний раз видели на Первомай.

— С настоящим. Мать моя тесто ставила.

— Мать чья?

— Валентина Ивановна, из вашей столовой.

— Валька Грачёва? — мужик присвистнул и поправил кепку. — Тогда приду. Сам не приду, так ноги принесут.

Он пошёл к вахте, и толпа сомкнулась за ним. Смена шла плотно, глядя на часы над турникетом, где стоял мастер с блокнотом. Я стоял у ларька и считал затылки. Сотни. Каждый затылок к трём часам проголодается.

Мать вышла ко мне в двадцать пять минут третьего через хозяйственную калитку столовой. Калитка была в заборе у самой площадки, железная, с облупленной красной краской, и за ней пахло так, что у Гири в окошке дёрнулся нос. Мать стояла в белом колпаке и фартуке, на щеке у неё белела мука, руки покраснели от горячей воды. Она сдала смену и не успела переодеться.

— Ешь, — она сунула мне в ладонь пирожок, завернутый в салфетку, и прикрыла мою руку сверху. — Пока горячий. С утра, небось, один чай.

— Мам, я не за этим...

— Ты «не за этим» говоришь с двенадцати лет, а худой, как швабра. Ешь, говорю.

Она подождала, пока я откусил, и только тогда заговорила дальше:

— В семь отнесла тесто и начинку. Галина отщипнула краешек, пожевала. Начинку с ножа пробовала, долго так, я думала, сердце выпрыгнет. Молчит. Потом говорит: «После раздачи две печи, Валя. Первую партию из твоего теста. Дальше наши продукты. Цена штучная. Деньги девочкам в руки».

— Штучная — это почём? — спросил я с полным ртом, придерживая пирожок салфеткой.

— Это ты с Галиной сам считай. Я в цены не лезу, я в тесто лезу.

— Девочкам — это кому?

— Зине Малаховой, Люде, Гале маленькой. И тётё Шуре. — Мать поджала губы и посмотрела в сторону калитки. — Они сейчас противни ставят. Ты им в руки, слышишь? Не через кассу, не через Галину. В руки, по-людски, каждой.

Она поправила мне воротник. Руки у неё пахли луком.

— Даня. Позоришь — позоришь меня. Не себя. Меня. Девочки мне в глаза смотреть будут, а Галина Сергеевна памятливая, она двадцать лет помнит, кто ей какое слово сказал. Ой, господи, и отец узнает...

— Отец знает, мам. Он пропуск мне заказал.

— Заказал, — вздохнула мать и посмотрела мне в глаза. — Заказал и молчит, как на поминках. Не позоришь, скажешь?

— Не позорю.

— Посмотрим, — сказала мать и ушла обратно за калитку.

За калиткой гремели противни.

В половине третьего я показал разовый пропуск у турникета. Пропуск мне заказал батя через мастера смены: бумажка в полладони, фиолетовая печать, моя фамилия, написанная чужим почерком с ошибкой, «Грачов». Вахтёрша в синем кителе взяла бумажку, посмотрела на меня, на бумажку, опять на меня.

Тут меня и остановили.

— Пстой-ка, — сказал кто-то у будки и шагнул мне наперерез, выставив блокнот, как жезл.

Начальник смены Сорокин стоял у стеклянной вахты. Невысокий, в очках, в пиджаке поверх рабочей рубашки, с блокнотом в руке. Он вышел проверить, кто уходит раньше гудка, а поймал меня. Про ларёк с утра говорил весь завод, и его глаза сказали мне, что он знает, кто я.

— Грачёв? Пашин?

— Пашин.

— Так. — Сорокин повернулся не ко мне, а к вахтёрам и двум рабочим у турникета с обходным листом и заговорил громко, для всех: — Слушай сюда. Кто отойдёт от рабочего

места к проходной до гудка, тот без премии за июнь. Это раз. Посторонним пропуск в обед я больше подписывать не буду. Это два. Я смену держу, а не буфет.

— Владимир Петрович, — подал голос один из рабочих и снял картуз, прижимая его к груди. — Мы ж не к буфету. Мы ж только за пирожком, по-быстрому...

— «За пирожком»! — Сорокин развернулся к нему и ткнул блокнотом в его робу. — Сегодня за пирожком, завтра за пивом, послезавтра участок пустой. Фёдоров, тебя записать?

— Да не надо писать.

— Тогда не агитируй.

Премия за июнь в девяносто втором была не премией, а вопросом, чем кормить детей в июле. Рабочие переглянулись. Вахтёрша придержала мою бумажку двумя пальцами. Сорокин постучал блокнотом по стеклу будки и сказал уже тише, глядя на меня поверх очков:

— Побегут ко мне в полтретьего, с участков. Завтра главный инженер спросит, почему сварщики стоят без дела. Спросит с меня, Грачёв. Не с тебя и не с твоего ларька.

— Владимир Петрович, — ответил я так же громко, для тех же людей, и развёл руками, показывая на площадку перед окошком. — Окошко откроется ровно на гудок. Ни минутой раньше. Кто прибежит раньше, упрётся в закрытое окно и в Гирию с улыбкой. Гирия улыбается так, что желание бежать пропадает само.

— А сам ты в часы смотришь? — Сорокин задрал голову и кивнул на часы над будкой, большие, круглые, со стрелкой, которая прыгала каждую минуту. Два тридцать одна.

— «Командирские» на руке. Поставлю по вашим.

— Поставишь по моим. На гудок, — повторил он и захлопнул блокнот.

— На гудок. Хотите, сами у окошка постоит. С часами.

Рабочие у турникета заушмылялись.

— Мне у твоего окошка стоять, больше заняться нечем, — проворчал Сорокин, поправил очки, что-то записал в блокнот и пошёл к лестнице, не прощаясь. — Фёдоров, от турникета отойди! Светишься!

Вахтёрша отдала мне пропуск.

— Иди уж, Грачов, — сказала она и махнула рукой к турникету. — Фамилию хоть на бумажке поправь, пока батя не увидел.

— Батя увидит, поправит сам, — сказал я и поднёс бумажку к глазам, будто примеряясь. — Он брак через стену чувствует.

Я прошёл турникет. Железная вертушка щёлкнула, и я оказался на заводской стороне, где пахло окалиной и машинным маслом, где за стеклом вахты висел плакат «Работай без травм», а кто-то дорисовал человечку на плакате усы.

Батя ждал меня у курилки.

Курилка у вахты была навесом из профлиста на четырёх трубах. Под навесом стояли две лавки буквой «Г», бочка с песком и ящик с огнетушителем на стене. Дверь в коридор вахты была открыта, и на крашеной синей филёнке мелом кто-то написал номера телефонов и жалобу: «Кто взял мой ключ на 17 — верни, гад».

Под навесом сидели мастера. Кузьмич, сухой, жилистый, с сигаретой в углу рта, смотрел глазами, которые смеялись раньше, чем он открывал рот. Рядом сидели трое, которых я знал по батиным рассказам: мастер сборочного Гурин, мастер трубного Шишкин и молодой, в клетчатой рубашке, с корпусного, фамилию которого батя всегда забывал.

— Пришёл, — сказал Гурин и подвинулся на лавке, скрипнув доской. Он был крупный, лысый, с лицом бульдога, который устал. — Ну, скажи, кормилец. У меня люди в пятнадцать десять садятся в автобус на Мещеру. Опоздали — сорок минут пешком по жаре. Пять минут у твоего окошка, и автобус ушёл. Он не ждёт, я тебе говорю. Он расписание знает лучше тебя.

— А у меня половина на трамвай бежит, — подхватил Шишкин и повернулся ко мне. — На пересменку и так давка. Сунешь им пирожок в зубы, они с пирожком и полезут под колёса. Кто потом отвечает? Ты?

— Я за пирожок отвечаю, Шишкин. За колёса отвечает вагоновожатая, — сказал я и поднял ладонь, останавливая его. — Трамвай ходит каждые четыре минуты, а пирожок остывает за пять. Кто не успел, тот едет следующим и едет сытый.

Молодой с корпусного крутил в пальцах спичку, как крутят ключ от дома.

— Мне всё равно, — сказал он, наконец, и сломал спичку. — Лишь бы быстро.

Батя стоял рядом со мной, и плечо у него было каменное.

— Допуск у тебя какой? — спросил он, не глядя на меня, и сжал кулак. — Сколько ты людей в минуту пропускаешь? Я мужикам слово дам, а ты мне брак выдашь?

— Три минуты на участок, батя. Окошко кормит участок за участком. Три минуты, и следующий. Вы своих ставите по очереди, я отпускаю по очереди. А кто первым, решайте сами. Порядок назовёт Кузьмич. Ему все верят.

Кузьмич вынул сигарету изо рта.

— Мне?

— Вам, Пётр Кузьмич. Вы над нами смеялись с февраля. Кто смеётся, тот не подсуживает.

— Значит, я самый честный судья в цеху, — сказал Кузьмич и стряхнул пепел под лавку. — Смеюсь и подсуживаю. Я на тебя в феврале рубль в шапку поставил, мне интересно, чтоб ты не прогорел.

Мастера засмеялись. Гурин тоже, но быстро перестал.

— А автобус? — спросил он и подался вперёд, упершись локтями в колени. — Три минуты, пять минут. Он не ждёт, я говорю.

— Водителю автобуса обед бесплатно, — сказал я и загнул палец, будто отсчитывая. — Каждый день. Пока ждёт.

Повисла тишина. Потом Кузьмич хлопнул себя по колену и захохотал так, что закашлялся.

— Водилу купил! За пирожок купил! Паша, у тебя сын — жулик!

— Торгаш, — сказал батя и сплюнул под ноги, старательно отворачиваясь. — Я б до такого не додумался.

— Потому что ты мастер, а я торгаш.

— Вот именно.

Он взял с полочки у двери кусок мела, которым мастера писали на двери свои телефоны, и подошёл к филёнке.

— Ну, называй, судья.

— Значит, так, — Кузьмич загибал пальцы и поглядывал на филёнку. — Батина сварка. Мой участок. Шишкинский трубный. Корпусной. Сборочный. Дальше малярка, такелажники, механики, электрики.

— Столбиком пиши, не сыпь, — сказал Шишкин и придвинулся к двери, вытягивая шею. — Я хочу видеть, где мои.

— Вижу, вижу, — сказал батя, записывая. Мел крошился. Он писал крупно, с номерами, и вышло девять участков. Двадцать семь минут от гудка до последнего.

Гурин смотрел на список, где его сборочный стоял пятым. Потом встал, подошёл к двери, стёр рукавом свою строчку, вытер мел о штаны, взял мел из батиной руки и написал «сборка» первым, над сваркой.

— Автобус у меня, — сказал он, тыча мелом в первую строчку. — Мои первыми.

— Твои, — сказал батя. Он глянул на Кузьмича, и Кузьмич махнул рукой: пусть.

— Сварщики вторыми, — сказал батя мне и повернулся ко мне вполоборота. — Но сварщики у нас голодные от работы, а не от жадности. Бери на них больше. Учти.

— Учёл, — сказал я и кивнул, запоминая строчки.

Без десяти три я вышел через вахту на площадку. Из хозяйственной калитки столовой поварихи уже катили тележку на скрипучих колёсах. На тележке стояли противни, накрытые полотенцами, и полотенца шевелились от пара, как живые.

Гудок ударил в три часа ровно.

Я слышал его всю первую жизнь, сорок лет подряд, каждый день, из окна кухни, из гаража, из автобуса. В пятьдесят пять лет я просыпался в Москве, на двадцатом этаже, от тишины, потому что не было гудка. Здесь он был. Длинный, низкий, хриплый, он поднимался из-за цехов и ложился на Сормово, как одеяло, и все голуби с крыши проходной разом взлетели.

Проходная выдохнула людей.

Первая смена выходила сотнями в одну дверь, в четыре турникета, и за турникетами растекалась по площадке, как вода из шлюза. И вода текла туда, куда текла всегда: к дощатому переходу через пути, к гастроному. Там булка с кефиром, варёное яйцо, жёлтая скамейка у крыльца, и оттуда же трамвай. Ноги сами несли. Все смотрели вперёд, на переход и на гастронорм, и зелёное железо у забора проплывало мимо, как столб.

Окошко было открыто. Гиря стоял в окошке в белом фартуке. У окошка стояли три человека, и один из них спрашивал «Беломор».

Гурин вывел своих сборщиков к ларьку, человек двадцать, и они встали, озираясь, неуверенно, как новички в чужой бане. А за ними, мимо них, текла смена к Тамаре.

Глава 3

Я снял с тележки противень, ещё горячий, обжигающий через полотенце. С краю, отдельно от рядов, лежал пробный пирожок — поварихи добавили его от себя, сверх обедной партии. Вышел на середину площадки. Прямо в поток, между проходной и переходом, так что людям пришлось меня обходить. Встал. И откинул полотенце.

Пар ударил вверх, густой, белый, в лица. Запах пошёл по площадке сразу, вширь, в стороны, до турникетов: жареный лук, мясо, горячее тесто, масло. Тот запах, который у каждого сормовского мужика с детства значит «мать дома».

— Горячие! — сказал я громко, так, чтобы слышали у дальнего турникета, и повернулся к потоку рабочих. — С мясом! Два пирожка — и чай бесплатно!

Мужик в кепке, который шёл прямо на меня, остановился, втянул воздух носом и остался стоять с открытым ртом. За ним упёрлись двое, за двумя пятеро. Поток ударился о противень, как вода о камень, и начал закручиваться.

— С мясом? — спросил мужик и шагнул ближе, вытягивая шею. Это был тот самый, утренний, про «фамилию или птицу». — А чай какой?

— Со слоном, отец.

— Со слоном, — повторил он с уважением и почесал в затылке под кепкой. — Кота в них нет, в пирожках?

— Кота в сормовской столовой отродясь не клали. Вот, пробуй.

Я взял пробный пирожок с краю, разломил пополам, и из середины повалил пар. Половину сунул мужику в руку.

— Даром. За обедом приходите к окошку.

Мужик откусил. Обжёгся. Замычал. Толкнул локтем соседа:

— Ты глянь. С мясом. С настоящим!

— Врёшь, — сказал сосед, но потянулся к противню.

Я отдал ему оставшуюся половину пирожка.

— Не тянись к противню, руки обожжёшь, — сказал я и отступил на шаг, придерживая полотенце. — Идите за мной, у окошка всем хватит.

Я поднял противень над головой, как поднимают знамя, и пошёл к окошку. Медленно, чтобы запах шёл за мной. И за запахом пошли люди. Мужик в кепке, его сосед, двое из малярки в забрызганных робах, тётка из заводоуправления с сумкой, пацан-ученик в мятой спецовке, человек тридцать, сорок, отрываясь от потока к переходу по одному и по трое.

— Почём два? — крикнула тётка из заводоуправления и засемила следом.

— Десять. Два пирожка и стакан чая.

— Я в столовую хожу, там по талону.

— Тут без талона, милая. Улыбнитесь Гире и платите.

У окошка я опустил противень на полку перед Гирей.

— Пожалуйста, — сказал Гиря мужику в кепке и выдал ему два пирожка и чай. Потом выдал сдачу и посчитал её на пальцах: — Рубль. Два. Три. Пересчитайте, пожалуйста.

Мужик пересчитал. Гиря смотрел на него, не мигая. Мужик пересчитал ещё раз, хотя сдача сошлась с первого.

— Сходится, — сказал мужик и сжал монеты в кулаке.

— Я знаю, — сказал Гиря и разгладил фартук. — Пожалуйста.

И тут пришли сварщики.

Батя шёл впереди. За ним Лямин с рыжими усами, Витёк, дядя Саня Мухин, молодые, человек двадцать пять в прожжённых робах. Батя не смотрел по сторонам. Он шёл прямо,

как на смене идут к сварочному посту, мимо тех, кого увёл противень, встал за сборщиками. Вторыми. По меловому списку.

За бригадой отца подтянулся участок Кузьмича, за ним трубный. Хвост, который тянулся к переходу, стал короче вдвое. Кто оглядывался от перехода, видел у зелёного железа толпу, а толпа в Сормове значит одно: дают.

Гиря первый противень уже убрал под полку, к себе, и я вернулся к тележке и взял у поварих второй, свежий, ещё дышавший паром сквозь полотенце.

Девочки из столовой стояли у тележки: Зина Малахова, крупная, румяная, в косынке; Люда, худенькая, в очках; Галя маленькая, которой лет было больше, чем всем остальным, и тётя Шура, беззубая, с красными руками. Я отдавал им деньги в руки прямо у тележки, за каждый противень, как договорились. Зина Малахова пересчитала первую пачку, покраснела ещё больше и сунула её за вырез халата.

— Паша! — крикнула она через площадку и помахала батю ладонью. — Сын у тебя платит, как министр!

— Ты его не хвали, Зин, — отозвался батя из очереди, не оборачиваясь, и дёрнул плечом. — Захвалишь, он совсем торговать начнёт.

— Он уже торгует, Паша! — Зина упёрла руки в бока и откинулась на тележку. — Вся проходная видит!

Очередь засмеялась. Батя стоял красный под усами и смотрел в затылок Лямину.

У окошка стало горячо. Сварщик с обожжёнными ладонями, молодой, я его не знал, откусил пирожок, обжёгся, замахал рукой перед ртом, выдохнул паром, как дракон, и не выпустил пирожка из пальцев.

— Жжёт, зараза! А не выпущу!

Лямин ел аккуратно, придерживая усы. Витёк протянул деньги:

— Четыре! Два себе, два жене в сумку. Она у меня такого отродясь не ела.

— Четыре, — сказал Гиря и выложил монеты на полку по одной. — Сдача. Раз. Два. Пересчитайте, пожалуйста.

— Да чего пересчитывать, я тебе верю!

— Пересчитайте, пожалуйста, — повторил Гиря, и Витёк пересчитал.

Дядя Саня Мухин откусил, прожевал, посмотрел на меня и сказал:

— Вот это обед.

И больше ничего не сказал весь день.

Батя ел стоя, уперев локоть в полку окошка. Жевал и смотрел куда-то на трубы. Батя молчал, когда было вкусно. Когда было невкусно, он говорил, что именно не так.

— Ну как, батя? — спросил я и подпёр локтем полку окошка рядом с его локтем. — Где брак? Я готов слушать.

— Брак найду, скажу, — ответил батя, жуя, и отломил следующий кусок. — Пока ищу.

Он вытирал усы тыльной стороной ладони после каждого куска.

Кузьмич подошёл со своим участком, третьим по списку. Постоял у окошка и посмотрел на меня.

— Ну? — сказал он и вытянул руку ладонью вверх. — Где мой? За насмешку?

Я достал из противня пирожок, самый румяный, с треснувшим боком, откуда торчал лук.

— За насмешку, Пётр Кузьмич. Двойная цена. Как договаривались.

— Двойная! — Кузьмич захохотал, отсчитал мне десять рублей за один пирожок, взял пирожок и откусил половину сразу. — Ах ты ж зараза. Ах ты ж зараза. Мать пекла?

— Мать тесто ставила.

— То-то. Я ж чую: Валька. Лук у неё пережарен ровно настолько, насколько надо. А ты, торгаш, её лук продаёшь.

— Я его не продаю, Пётр Кузьмич, я его людям показываю.

Я вынул из противня второй пирожок и протянул ему.

— А этот даром.

— Показывает он, — Кузьмич покачал головой и дожевал, держа пирожок на весу. — Паша, слышишь? Показывает.

— Слышу, — сказал батя и дожевал, глядя на трубы. — Не слушаю.

Автобус на Мещеру стоял у ворот с распахнутой дверью. Водитель, толстый, с усами, в майке, сидел на подножке и жевал два моих пирожка, и автобус ждал.

— Тебе мать пекла? — крикнул он мне, не переставая жевать и придерживая усы ладонью.

— Мать.

— Поклонись от меня. Сто лет такого не ел.

Гуринские сборщики с пирожками в руках лезли в двери, и никто не бежал.

Через головы людей я посмотрел за пути.

На крыльце гастронома стояла Тамара Лукинична. В белом халате поверх кофты, волосы крашенные хной, начёс, руки на груди. Она вышла на гудок, как выходила, наверное, на каждый гудок, посмотреть на свою очередь. Её очередь стояла вдвое короче вчерашней. Она смотрела поверх рельсов на мой зелёный ларёк, на противни, на пар, и я видел её лицо даже отсюда: оно было белое, а щёки красные.

За обед — два пирожка и стакан чая — я брал десятку. Четыреста обедных пирожков из двух печей кончились на половине смены. Последний противень Гирия вынес пустым, только крошки и масляные пятна на жести. Малярка, механики и электрики дошли до окошка и увидели сушки.

— А пирожки где? — спросил маляр в забрызганной робе и заглянул в ларёк.

— Кончились, — сказал Гирия и отодвинул пустой противень. — Есть сушки. Пожалуйста.

— Сушки, — маляр посмотрел на связку, как на оскорбление, и сдвинул кепку на затылок. — Завтра тоже кончатся?

— Завтра шестьсот, — сказал я и кивнул в сторону проходной. — Вы в списке на двери, шестые.

— Где на двери?

— В курилке. Мелом.

— А, мелом, — маляр кивнул и почесал затылок. — Мелом — это серьёзно.

Малярка взяла сушки и чай и пошла через пути. Механики и электрики, кому не хватило, пошли к Тамаре. Сварщик с обожжёнными ладонями, уходя, постучал костяшкой по зелёной боковине:

— Завтра займи мне два. С мясом.

— Займу, — сказал я и приложил ладонь к зелёной боковине. — Под расписку на фантике.

— На каком фантике?

— Завтра объясню.

В половине четвёртого площадка опустела. Гирия считал выручку в ларьке, раскладывая монеты по спичечным коробкам, как научился в феврале: по монете, по бумажке, вслух. Отдельно лежали девять водительских талончиков: бесплатные обеды. Сто девяносто один оплаченный — тысяча девятьсот десять. Девять водителей тоже съели, но денег за них в кассе не было. Мать вышла из калитки, уже в своём платье, без колпака, с пустым противнем под мышкой. Она поставила противень на тележку и посмотрела на меня.

— Завтра шестьсот, — сказала она и показала на пустой противень. — Галина сказала, три печи.

— Шестьсот? — я присвистнул и вытер ладонью лоб. — Мам, потянете?

— Потянем. Ты деньги готовь.

Она ушла, не дожидаясь, что я отвечу. Спина у неё была прямая, как у генерала.

В шесть вечера я был на площади у Московского вокзала.

По средам я сводил опт с Серым и Мелким у метро и забирал из Люськиного сарая халву на неделю. Бугай ехал со мной. Всю дорогу он держал на коленях мешок муки, пятьдесят килограммов, прямо в трамвае, и кондукторша, проходя, обтирала бок о мешок.

— Гражданин! — кондукторша ткнула в мешок пальцем и стукнула компостером о край сиденья. — Мешок на колени — это багаж! Багаж по талону! И вся юбка в муке, вы что, мельницу с собой возите?

— Я не вожу, — сказал Бугай и крепче прижал мешок к коленям. — Я несу. Это человеку.

— Человек ваш без мельницы обойдётся! Билет покажите!

Я протянул два билета, и кондукторша ушла, отряхивая юбку и бормоча под нос.

— Толян, это кому?

— Тёте Дусе, — сказал Бугай и осторожно поправил мешок на коленях, будто тот мог услышать. — Люськиной матери. У неё мука кончается.

— Ты откуда знаешь?

— Люська говорила, — Бугай покраснел до ушей и уставился в пол трамвая. — Не мне. Она кому-то в ряду. А я рядом стоял. Я слушал.

— Подслушивал.

— Я медленный, Дань, а не глухой.

На площади он пошёл не к сараю, а прямо к весовой. Я пошёл за ним.

Люська сидела в будке у грузовых весов. На жаре, в ватнике, платок съехал на затылок, щёки круглые и красные, как два яблока. Она взвешивала торговке Кузи огурцы. Торговка, худая, с золотыми зубами, спорила про сто граммов.

— Сто граммов недoves! — торговка ткнула пальцем в стрелку и показала на огурцы. — У меня на глазок больше!

— На глазок ты мужу гири клади, — ответила Люська и показала на стрелку. — Сто граммов у тебя в рассоле. Мне огурец взвешивать велено, а не твою воду. Хочешь без воды, суши носи.

— Ты мне тут!..

— Следующая, — сказала Люська и махнула рукой, не поднимая глаз, и торговка пожалела, что открыла рот.

Бугай подошёл к весам. Он снял с плеча мешок муки и поставил его на грузовую платформу. Стрелка прыгнула на пятьдесят. Торговка с огурцами замолчала. Соседки по ряду обернулись. Люська подняла глаза: на мешок, на Бугая, опять на мешок.

— Толька, ты чего? — прошипела она и махнула на мешок. — Убери. Занято.

— Люсь, — сказал Бугай громко и ровно, как в армии докладывал дежурному по части, и положил ладонь на мешок. — Выходи за меня.

Весь ряд замер.

У Люськи загорелись уши. Сначала мочки, потом всё ухо целиком, до платка. Она дёрнула платок вниз, на уши, и уставилась на стрелку весов, как на врага.

— Центнер с мешком, — объявила она на весь ряд и показала на мешок. — Не жених.

Ряд грохнул. Торговка с огурцами уронила огурец.

— Люська, бери, пока дают! — закричали в конце ряда. — Он и мешок, и жених!

— Мешок бери, жениха потом!

— Да они оба твои, Люся, жених просто тяжелее!

Бугай стоял багровый, как свёкла. Он снял мешок с весов, прижал его к груди и остался стоять.

Я встал рядом с ним. Люська ткнула в меня пальцем, как в гирию на весах.

— Грачёв! Раз уж пришёл, будешь свидетель. Значит так. Первое: у него свой ларёк. Не под Кузей и не под тобой, а свой. Второе: с замком, и ключ у него в кармане, а не у тебя на связке. Третье: тогда поговорим. Чужие мешки таскать я и сама умею, у меня мать тридцать лет с ящика у ворот торгует. Толька, повтори.

— Свой, — сказал Бугай и поднял подбородок. — С замком. Ключ у меня.

— Молодец. Не спорь.

— Я не спорю.

— Вот и не спорь. — Люська повернулась ко мне и скрестила руки на груди. — Понял, свидетель?

— Свой, — сказал я и посмотрел на Люську. — Хорошо.

Я назвал ей цену ларька вслух. Сколько стоит железо, сколько сварка, сколько место на рынке. Громко, на весь ряд. Торговки притихли и считали.

— Он столько за год не заработает! — ахнула Люська и всплеснула руками.

— За лето заработает, — сказал я и загнул палец, отсчитывая месяцы.

Люська прикусила губу и посмотрела на Бугая, который стоял с мешком в обнимку, огромный и несчастный. Потом повернулась к ряду.

— За лето! Слышали все?

— Слышали! — крикнули с ряда.

Бугай понёс мешок к Люськиному дому сам. Двадцать минут через Канавино, по частному сектору, мимо заборов и палисадников с мальвами, на плече, не перекладывая. Я шёл рядом с пустой сумкой под халву, потому что сарай стоял там же, во дворе у тётки Дуси, и слушал, как он сопит.

— Дань, — сказал он на полпути и крепче прижал мешок к плечу. — А если она смеялась?

— Она не смеялась, Толян. Она считала.

— А вдруг она считала, как надо смеяться?

— Тогда ты бы слышал.

— Я медленный, — вздохнул Бугай и переступил с ноги на ногу. — Я потом слышу.

У калитки он поставил мешок на лавку и постучал. Тётя Дуся, маленькая, в чёрном платке, вышла на стук, увидела Бугая и набрала воздуха, чтобы гнать, как гнала с февраля.

— Опять ты, лоб?! Я тебе сколько раз...

— Тётя Дусь, — быстро сказал Бугай и показал на мешок на лавке. — Это вам. Без всяких. Не от Люськи. То есть от меня.

Тётя Дуся замолчала. Она потрогала мешковину, взяла на ладонь щепоть муки из угла, растёрла и понюхала.

— Первый сорт, — сказала тётя Дуся и отступила, пропуская его в сени. — Неси в сени. И не погнала.

В трамвае назад, в половине восьмого, Бугай молчал до самого Сормова. Он сидел, положив руки на колени, смотрел в окно на Канавино, на трубы, на Волгу, которая мелькала между домами, и я его не трогал.

У сормовского кольца, когда трамвай уже скрипел на повороте, он повернулся ко мне.

— Дань. Где мне к осени ларёк взять? Я же понимаю, без ларька и жены нет. Как говорится, не имей сто друзей, а имей сто ларьков.

Глава 4

— Сто не надо, Толян, — сказал я и рассмеялся, толкнув его плечом. — Тебе хватит одного.

Я снял со связки ключ, маленький, от навесного замка, с биркой из фанерки, на которой химическим карандашом было написано «рынок».

— Ларёк на Сормовском рынке пустует с мая, — сказал я и показал ему ключ. — Батон ушёл к Кузе, окошко забито фанерой. Фанеру сорвёшь, с утра встанешь. Товар мой, выручка на кассу, доля тебе каждый вечер.

Бугай взял ключ и долго держал его на ладони. Ладонь у него была, как лопата, и ключ на ней казался гвоздиком.

— С утра, — сказал он и сжал ладонь в кулак.

— С восьми.

— А Люська узнает?

— Люська узнает от людей, Толян. Это надёжнее, чем от тебя.

В четверг, двадцать пятого июня, в восемь утра Бугай открыл ларёк у входа на Сормовский рынок. Я не видел, как он открывал. Мне рассказал Тюлень.

— Фанеру, — говорил Тюлень, вытаращив маленькие глазки, и разводил руки, показывая размах. — Одной рукой, Грач, как лист с тетради! И первым делом рукавом протёр окошко! Рукавом! Я такого не видел.

В среду вечером, в двадцать два сорок, я сидел в гараже №14 с Бугаем и считал день. Под потолком горела лампочка, и вокруг неё вились мотыльки. На крышке отцовского ящика с инструментом лежали бумажки и монеты: сколько пирожков ушло, сколько отдать девочкам в руки, сколько заказать на завтра, если три печи. Бугай сидел на ящике и чистил ключ от рыночного ларька тряпкой, хотя ключ и так блестел.

— Шестьсот, — сказал я и сдвинул монетки к краю ящика. — Шестьсот уйдут.

— Если придут, — сказал Бугай и поднял голову от ключа.

— Придут. Кто сегодня не успел, завтра придёт первым.

— А Тамара? Она ж, Дань, не простит. Как говорится, не плюй в колодец, там Тамара.

— Тамара торгует булкой и обидой, Толян. Булка у неё вчерашняя, а обида свежая. На обиде обед не построишь.

Я закрыл гараж в одиннадцать и пошёл домой длинной дорогой, мимо проходной. Мне хотелось посмотреть на ларёк перед сном, как смотрят на спящего ребёнка.

Ночь была белёсая. Солнце ушло, но северное небо над заводом стояло светлое, зеленоватое, как бутылочное стекло. У забора лежали синие тени. Пахло нагретой за день шпалой и креозотом. Где-то в Сормовском парке играл магнитофон, «Ласковый май».

Ларёк лежал на боку, окошком в землю, дверью в небо, как опрокинутый шкаф. Одна шпала была вывернута и отброшена в сторону, а под ней, в рыхлой земле, торчал ломик. Дверь висела на одной петле: вторую сорвало, когда железо легло.

Я остановился и простоял так секунду. Потом поднял голову и посмотрел через пути. У рампы гастронома, в свете фонаря, закрывалась задняя дверь. Я успел увидеть две спины в синих халатах, широкие, грузчицкие. Дверь хлопнула, лязгнул засов.

Тамара ответила.

Я свистнул по-армейски, в два пальца. От гаражей раздался топот, и через минуту Бугай вылетел на площадку в майке, с тряпкой в руке. Он увидел ларёк и выругался так, что я услышал новое слово.

— Кто?! — Бугай топнул, и дрогнула шпала. — Дань, кто это сделал? Я найду!

— Найдёшь, будет драка, — сказал я и упёрся ладонью ему в грудь. — Драка сожрёт ночь, а ночь у нас на счету. Поднимаем.

Он упёрся плечом в крышу ларька. Я встал рядом. Мы толкнули вместе. Железо заскрипело, ларёк пополз по земле, приподнялся на ребре на ладонь, на две. Бугай хрипел, и вены на шее вздулись верёвками. Ларёк качнулся и тяжело, мягко, с глухим железным вздохом лёг обратно.

— Не поднять вдвоём, — выдохнул Бугай, вытирая лоб тряпкой. — Вчетвером надо, Дань, и то с матом. Кран. Батя утром кран у Михалыча выпросит, к обеду встанет. Откроемся в три, как сегодня.

— Утро потеряем, Толян, а обед нет.

— Это как?

— Увидишь.

Я наклонился и вытащил ломик из-под шпалы. Он был тяжёлый, крашенный синей краской, с загнутым концом. На рукояти, у самого конца, кто-то выбил зубилом: «Гастр. Коминт.»

Они даже не стёрли.

Я перешёл пути по дощатому переходу, подошёл к рампе гастронома и прислонил ломик к задней двери. К той самой, за которой скрылись грузчики. Буквы на рукояти я повернул наружу, чтобы утром, откидывая засов, они увидели свой инструмент.

Вернулся к Бугаю.

— Толян, стереги до утра. Чтобы не утащили петли.

— А ты?

— А я на овощебазу.

Бугай уставился на меня с тряпкой в опущенной руке.

— Ночь, Дань. Какая овощебаза?

— Та, где шофёры не спят и злятся, — сказал я и кивнул в сторону шоссе. — Жди.

Я вышел на Сормовское шоссе и поднял руку.

Частник на «Москвиче» остановился через пять минут, сонный, в тапочках на босу ногу.

— Куда? — спросил он и опустил стекло до конца.

— На Московское шоссе, на овощебазу.

— Ночью? Капусту воровать?

— Шофёра искать.

— Шофёр ночью спит, — сказал частник, но трёшку взял и довёз, больше ни о чём не спрашивая.

Я помнил овощебазу по первой жизни. В девяносто четвёртом я сам стоял здесь ночами за картошкой для своего первого магазина. Каждую ночь у ворот стояла очередь грузовиков на разгрузку, шесть, восемь, десять машин. Шофёры маялись до рассвета, база разгружала по одной, кладовщики спали, а за простой не платили никому. Шофёр на такой очереди был человек, которому некуда деть ни время, ни машину, ни злость.

В половине двенадцатого у ворот базы горели прожекторы на столбах. Свет белый, резкий, вокруг ламп кружилась мошкара облаком. Пахло гнилой капустой, соляжкой, мокрым деревом ящиков. Очередь — шесть машин вдоль забора. Из кабин торчали локти и ноги.

Третья машина была ГАЗ-53 с откидным бортом, зелёная, с кузовом, набитым мешками капусты. Номер балахнинский. В кабине, откинувшись на спинку, спал мужик лет тридцати пяти. Небритый, в майке, одна рука свесилась в окно. На сиденье рядом с ним лежала монтировка.

Я постучал в стекло.

Мужик открыл один глаз.

— Чего?

— Работа есть.

Он открыл второй глаз, посмотрел на мои руки, на рубашку, на кеды и оценил: пацан.

— Ночной тариф, — сказал он и провёл ладонью по небритой щеке. — Двойной. Вперёд.

— Ты когда разгрузишься?

Он сел, выглянул из окна на очередь, на ворота, на прожекторы.

— Стою с восьми вечера. С капустой из Балахны. — Он зевнул и сплюнул на асфальт. — База за простой второй месяц не платит. Кладовщик спит. Разгрузка к трём, если повезёт. Пока не разгрузусь, никуда не поеду, пацан. Это не моя капуста, она совхозная. Уеду, мне голову снимут.

— Как зовут?

— Митяй. Хохлов Дмитрий. А тебе зачем?

— Митяй, мне не рейс нужен. Мне нужен грузовик с шофёром. Каждый день. К семи утра у проходной «Красного Сормова». Весь день стоишь, открываешь борт, с борта торгуем. Вечером уезжаешь, ночуешь где хочешь. Утром опять у проходной.

Митяй смотрел на меня, не понимая.

— Торгуем чем?

— Обедом. Пирожки, чай, горячее. Смена выходит в три, сотни голодных, а гастроном им отвечает «не положено».

— Как ларёк, значит.

— Как ларёк. Только ларёк мне сегодня опрокинули ломом, а тебя не опрокинешь. Ты вечером уедешь.

Митяй помолчал. Потом засмеялся коротко, хрипло, без веселья.

— Опрокинули. Кто?

— Соседи.

— Сормовские соседи, — сказал Митяй с уважением и покачал головой. — Ага.

Он достал из-за козырька пачку «Примы», вытряхнул сигарету и закурил. Дым пошёл в прожектор синей лентой.

— Деньги вперёд, — сказал он и стряхнул пепел за окно. — За неделю. Пацанам вашим я не верю. Сегодня пирожки, завтра нету, а я машину гонял. У меня машина одна, она кормит.

— Вперёд не дам, — сказал я и положил руку на дверцу кабины. — Возьму в долю. С каждого обеда. Сколько оплаченных обедов с борта ушло, столько рублей тебе. Бесплатные водительские отдельно, по талонам. Будут есть, будешь богатый. Не будут, я прогорел первым, раньше тебя. Смотри сам: на капусте ты стоишь до трёх, и база тебе за простой ни копейки. А порция платит каждый день, хоть сто, хоть сколько съедят.

От дневных денег я уже отделил семьсот: четыреста за продукты на четыреста пирожков, двести девочкам за работу и сто за чай. Первую партию мать принесла из дома, и её продукты я тоже оплатил, не записал в дар. Гире за сто девяносто один оплаченный обед выдал сто девяносто один рубль, Мазаю три процента с кассы — пятьдесят семь рублей тридцать копеек. Свободными остались девятьсот шестьдесят один рубль семьдесят. На завтра шестьсот пирожков с чаем — тысяча пятьдесят; девичью работу выдаю после смены. Оставшихся денег хватало на продукты до завтрашней кассы, но не на чужую требуемую сумму.

Митяй затаился и долго держал дым.

— Сколько народу через ту проходную?

— Вся первая смена. И вторая заходит.

Митяй выпустил дым и прищурился. Он снял с козырька огрызок карандаша и начеркал на пачке «Примы» три цифры одну под другой: смена, полсмены, по рублю с обеда. Подчеркнул. Посмотрел на подчёркнутое. Вылез из кабины, потянулся, хрустнув спиной, и посмотрел на ворота базы, где спал кладовщик, на свою капусту, на меня.

— Если к трём разгрузят, — сказал он и сплюнул под колесо, — то в семь я у твоей проходной.

— Разгрузят к часу.

— Это с чего?

Я залез на колесо, перекинул ногу через борт и оказался в кузове на мешках. Мешки были мокрые, холодные, пахли землёй.

— С того, что грузчиков на базе ночью нет, — сказал я сверху и присел на корточки на мешках. — Кладовщик ждёт, пока шофёр сам разгрузит. Вот я и разгружу. С тобой.

— Ты? — Митяй отошёл на шаг от борта и посмотрел на меня снизу вверх. — Двадцатилетний, а командует.

— Двадцатилетний у тебя рук не просит, только спину. Лезь.

Митяй посмотрел на свои руки, бросил сигарету, наступил на неё и полез в кузов.

В час ночи подошла наша очередь. Кладовщик, сонный, лохматый, в ватнике на голое тело, открыл ворота склада, ткнул пальцем в рампу и ушёл досыпать в будку. Мы кидали мешки на рампу вдвоём. Сорок килограммов мешок, сорок мешков. Митяй кидал ровно, как машина. Я кидал, как двадцатилетний, у которого спина лёгкая, а руки не знают, что им положено устать. К середине кузова у меня горели ладони и пот лез в глаза, и я смеялся вслух, потому что в пятьдесят пять лет не поднял бы и трёх мешков.

— Чего ржёшь? — спросил Митяй и утёр лицо майкой.

— Спина не болит.

— Заболит, — пообещал Митяй и кинул на рампу следующий мешок. — Годам к сорока.

— Заболит, — согласился я, поднимая следующий мешок.

Кладовщик расписался в накладной, не глядя, мокрым карандашом. Митяй завёл мотор. ГАЗ-53 зарычал, выпустил облако сизого дыма и дрогнул всем кузовом.

— Куда?

— Сормово. Коминтерна. За домом гаражи. Ночуешь в кабине у торца, утром в семь у проходной.

В половине второго грузовик шёл по пустому Сормовскому шоссе, и фары выхватывали из белёсой ночи трамвайные столбы, спящие ларьки, кота на обочине. Митяй крутил баранку одной рукой и молчал. Потом сказал:

— Доля с порции, значит.

— С порции.

— Посмотрим, — сказал Митяй и покачал головой. Те же слова, что мать, и тот же тон.

Утром мать увидела грузовик из окна кухни. Он стоял у торца гаражей, и Митяй спал в кабине, свесив руку. Мать вышла в прихожую, где я надевал кеды.

— Даня, — сказала она и кивнула в окно. — Это чей табор у гаражей?

— Мой, мам.

— Твой. — Мать посмотрела на меня, потом на мои ладони, красные, в ссадинах от мешковины. — Ой, господи. Ты где ночью был? Отец спрашивал, я сказала: на базе. Он говорит: на какой такой базе ночью.

— На овощной, мам.

— Овощной! Руки намажь. Маслом подсолнечным. И поешь сначала, потом торгуй. Торгаши.

В четверг без четверти семь Митяй поставил ГАЗ-53 на площадке у проходной, рядом с лежащим ларьком, и откинул борт. Борт упал с грохотом, и вахтёрша за стеклом будки уронила кружку.

Гиря пришёл без четверти семь, увидел ларёк на боку и долго стоял. Потом, не сказав ни слова, откинул на оставшейся петле верхнюю дверь, нагнулся в проём и стал вытаскивать коробки. Чай, сушки, сахар. Уцелело почти всё: железо легло мягко, на землю. Гиря подавал коробки мне, я передавал их Митяю в кузов. Фартук его пачкался о пыльное железо внутри.

— Кто? — спросил Гиря и поднял голову из проёма, придерживая коробку на весу.

— Соседи.

— Пожалуйста, — сказал Гиря тихо и поставил коробку на край борта так, что борт звякнул. — Я запомню, Грач. Я считаю.

Утренняя смена шла мимо. Люди останавливались и смотрели на ларёк на боку, на грузовик, на Гирю, который вытаскивал через верхнюю дверь коробки, в белом фартуке, испачканном пылью.

— Лукинична постаралась, — громко сказал мужик в брезентовой куртке и кивнул на ларёк.

— Да она своим грузчикам только намекнула, — ответил сосед и кивнул, как кивают о погоде.

Тут и подъехал инспектор ГАИ. Он ехал на жёлтом мотоцикле с коляской, в белой португее, в фуражке, с жезлом на ремешке. Он проехал мимо проходной, притормозил, развернулся и вернулся. Слез и подошёл к Митяю.

— Чья машина?

— Моя, — сказал Митяй и потянулся к бардачку за документами.

— Убрать. Здесь проезжая часть. Утром к воротам машины идут, а ты встал поперёк. Документы.

— Начальник, я на минуту...

— Минута у тебя кончилась. Документы!

Он уже раскрыл планшет со штрафными квитанциями. Митяй посмотрел на меня. Он вошёл в долю пять часов назад и ещё ни копейки не получил, а квитанция уже лежала в планшете.

Глава 5

— Сейчас уберём, товарищ инспектор, — сказал я. — Туда, где можно. — И крикнул через площадку, в поток смены, где увидел батину кепку: — Батя!

Батя обернулся. Он увидел меня, грузовик, ларёк на боку, инспектора. Лицо у него не изменилось. Он вышел из потока и подошёл к нам, не торопясь, с пропуском в руке. Было без десяти семь.

— Товарищ инспектор, — сказал я и кивнул в сторону стоянки слева от проходной. — Это Грачёв Павел Семёнович, мастер сварочного участка. У мастера участка есть право ставить машину на заводской стоянке. Вон там, слева от проходной.

Инспектор посмотрел на батю. Батя протянул ему пропуск. Инспектор взял, прочитал, посмотрел на фотографию, на батины усы, на пропуск снова.

— Читай внимательно, — сказал батя и ткнул пальцем в пропуск. — Грачёв. Мастер. Фамилия через «ё», не ошибёшься. Машина идёт под мой участок, поставим на стоянку. Мне брак принимать с утра, некогда мне с тобой допуски сверять.

— Под участок, значит, — инспектор закрыл планшет и вернул пропуск. Он посмотрел на грузовик, на ларёк на боку, на Гирю, который выпрямился весь в пыли и стоял в фартуке, как бандит, переодетый поваром, кем он и был. — Номер запишу. На будущее.

Он записал, сел на мотоцикл и уехал.

Митяй перегнал грузовик на заводскую стоянку, слева от проходной, по батиному пропуску, и встал бортом к проходной. От борта до турникетов было пятнадцать шагов. От гастронома до борта лежали двое путей и дощатый переход.

Батя посмотрел на ларёк на боку.

— Кран? — спросил он и пнул носком ботинка отброшенную шпалу.

— Потом, батя. Сегодня едят с борта.

— Опрокинули, — сказал батя и посмотрел на ларёк на боку. — Руками надо. Ставить мало, держать надо.

— Подниму и буду держать.

— Подымешь. — Батя хмыкнул, и под усами у него что-то дрогнуло. Он сунул пропуск в карман и пошёл к вахте. В шесть пятьдесят восемь турникет щёлкнул за его спиной.

К началу утренней торговли мы с Митяем выгребли из кузова капустные листья, отмыли доски и борта, дали им обсохнуть. Я выстелил место под противни чистой клеёнкой; еду собирались везти только в закрытых лотках и термосах. Овощные мешки остались на базе. Запах дерева и старой капусты за одно утро не выгонишь, но пирожок на эти доски не ляжет.

В девять утра к грузовику прибежал Тюлень.

Тюлень бегал редко. Он был круглый, медлительный, с маленькими глазками на большом лице, и бегал он так, как бегают тюлени по суше: всем телом, с перекатом. Он пробежал от больничной остановки до проходной полтора километра и стоял теперь у борта, держась за сердце.

— Грач! — Тюлень навалился грудью на борт и хватал воздух ртом. — Там... У больницы... Кузин!

— Дыши, Тюлень. Что Кузин?

— Ларёк! За ночь поставили! В десяти шагах от моего! Серый, ржавый, замок чужой!

— Кто в окошке?

— Рябой, в кепке задом наперёд! Семечки лузгает и орёт!

— Что орёт?

— Не знаю, я не стал слушать, я к тебе! — Тюлень оглянулся на дорогу и вытер лицо рукавом. — Грач, там очередь, человек восемь, а ко мне никто не идёт!

— Гиря, — сказал я и повернулся к Гире. — Остаёшься у борта. В три ты знаешь что делать.

— Пожалуйста, — сказал Гиря и загнул палец. — Раз — борт. Два — стаканы. Три — противни. Я считаю.

Грузовик мне был нужен у проходной: к трём часам кузов должен стоять пустой и чистый. Я пошёл к больнице пешком через парк, и Тюлень заковылял следом, всё ещё держась за сердце.

В Сормовском парке было прохладно и зелено, пахло скошенной травой и речной сыростью. Старухи с утра сидели на лавках с вязаньем, мальчишки катали велосипед без цепи. Я шёл по длинной дорожке, по той, где мы с Аней ходили в январе по снегу, и думал про Кузю.

Кузя бил туда, где я тонуше. У проходной стоял я сам, Гиря, грузовик, батины сварщики. У больницы стоял Тюлень, один, в железной будке, и за Тюленем никто.

Ворота парка выходили на трамвайную остановку «Больница». Между воротами парка и воротами двенадцатой больницы стоял мой ларёк, зелёный, с Тюленевой табуреткой у двери. А в десяти шагах от него, ближе к больничным воротам, стоял второй. Облупленный, серый, с ржавыми потёками, с чужим замком на двери. В окошке сидел рябой парень в кепке козырьком назад и лузгал семечки.

По утрам к больнице шли родственники. С сетками, с банками, с кастрюльками в полотенцах. Передачи. В сетках кефир, яблоки, колбаса. Больному нужно мясо, а в больнице одна перловка, это знало всё Сормово.

У Кузино окошка стояла очередь. Человек восемь. Я подошёл ближе и прочитал ценник, написанный на картонке фломастером. Варёная колбаса на треть дешевле моей.

— Хоть на полкило хватит, — шептала женщина в очереди, пересчитывая на ладони мелочь. — Коле после операции.

— Бери, Тонь, бери, пока дают, — шептала соседка в ответ, кивала и тоже считала.

На треть дешевле: столько не стоит ни одна честная колбаса в Нижнем в июне девяносто второго.

Тюлень смотрел на меня из своего окошка несчастными глазами.

— Грач, они у нас всю очередь забирают, — зашептал он и оглянулся на Кузиную очередь. — Сбавим?

— Нет.

— Почему нет?

— Потому что Кузе не надо зарабатывать, Тюлень, ему надо, чтобы я ушёл. Сбавлю до его цены, буду продавать себе в убыток каждый день, пока Кузя не устанет. А он не устанет, у него карман Каленика. Кефир есть?

— Два ящика.

— Весь в окошко. Бутылками наружу. Сушки. Печенье, которое «к чаю». Яблоки. Всё, что носят в больницу.

— Так ведь колбасу же ищут!

— Колбасу найдут и у него, а кефир ищут у тебя. Ставь.

Тюлень выставил. Молочные бутылки с зелёными крышками из фольги встали в окошке рядком, как солдаты. Сушки легли связками, яблоки высыпались в тазик.

Очередь поделилась. Колбасу брали у Кузи. Кефир, сушки, печенье брали у Тюленя: у Кузи в окошке, кроме колбасы и водки, ничего не было. Кузя привёз оружие, а не магазин. Бабка с двумя сетками ходила от одного окошка к другому, как челнок: в левой сетке кефир от Тюленя, в правой колбаса от Кузи.

Рябой в кепке смотрел на её левую сетку. Он выплюнул шелуху, высунулся из окошка по пояс и заорал на всю остановку так, что обернулись люди на трамвайной платформе:

— А у Грачёва дерут втридорога! С больных дерут! Совести нет у торгаша! Гена сказал — у него колбаса вдвое! Люди, я вам говорю!

Женщина с сеткой, молодая, с усталым лицом, уже взяла у Тюленя кефир. Она остановилась, посмотрела на мою колбасу в окошке, на ценник, развернулась с кефиром в руке и шагнула обратно к очереди, будто и кефир был отравлен втридорога.

— Втридорога? — сказал я через десять шагов, раньше, чем рябой набрал воздуха на второй крик, и повернулся к Тюленю. — Тогда я её снимаю. Тюлень, колбасу с витрины. Всю.

— Всю? — Тюлень обернулся к своей витрине и заморгал.

— Всю. Пусть видят, что втридорога у нас больше не продаётся.

Тюлень полез под прилавок. Батоны, полубатоны, нарезка ушли в ящик. В окошке остались кефир, сушки и яблоки. Рябой застыл, высунувшись по пояс: он приготовил второй крик для спора, а спорить стало не с чем.

— Завтра будет колбаса с биркой комбината, — сказал я при очереди и поднял руку, негромко, так, чтобы слушали, а не слышали. — Увидите, где сделана и кто делал. А сегодня берите у него. Если понравится, ешьте на здоровье.

— Бирку он нарисует! — рябой выплюнул шелуху и заржал. — Фломастером!

— Нарисую, — кивнул я и обвёл очередь глазами. — Ты мне фломастер одолжишь.

Очередь молчала. Женщина с кефиром остановилась у трамвайной платформы и оглянулась на меня. Бирку, сказал я. Теперь её надо было достать до шести утра.

В три часа, на гудок, в кузове ГАЗ-53 стояли шесть противней под полотенцами. Шестьсот пирожков из трёх печей столовой. Гирия стоял на борту, я внизу с чайником и с гранёными стаканами на подносе.

Смена вышла. И пошла к грузовику уже без противня посреди площадки: участок за участком, по меловому списку на двери курилки. Сборщики Гурина первыми, их автобус стоял с распахнутой дверью, водитель ждал на подножке. Сварщики вторыми, батя впереди. Люди выстраивались к борту, как к кассе в бане, спокойно, по порядку, и через три минуты Кузьмич кричал: «Сварка — всё! Мои!» И его участок шёл.

За рельсами Тамара Лукинична стояла у автомата.

Я видел её без десяти три, за десять минут до гудка. Она вышла из гастронома, сошла с крыльца, зашла в будку телефона-автомата и набрала номер. Она прижимала трубку плечом, а рукой держалась за стенку будки. Я не слышал, что ей отвечали. Я видел её лицо через стекло. Сначала оно было злое и живое. Потом оно каменело, медленно, как застывает гипс. Она повесила трубку, промахнулась мимо рычага и повесила ещё раз.

В пять минут четвёртого Тамара перешла пути.

Она шла по дощатому переходу в белом халате поверх кофты, и смена расступалась перед ней, потому что привыкла расступаться перед этим халатом. Она подошла к борту грузовика, встала и упёрла руки в бока.

— Люди! — заговорила она голосом, который перекрикивал очередь за колбасой под Новый год, и показала рукой на кузов. — Вы что едите?! С какого борта едите?! Этот грузовик вчера гнилую капусту возил с базы! В кузове гниль! Животы будут у всего завода! У всего! И отвечать будет не он, не торгаш, отвечать будете вы, перед жёнами, перед больничным листом! Я двадцать летвас кормлю из чистых рук, у меня санэпидстанция каждый месяц, у меня ревизия каждый квартал! А это что?!

Люди замерли с пирожками в руках. Кто-то перестал жевать.

— Гниль? — переспросил кто-то в толпе и понюхал пирожок.

— Да какая гниль, горячие же...

— А в кузове-то, гляди, правда, капустой пахнет...

Молодой сварщик с обожжёнными ладонями опустил пирожок и понюхал кузов. От бортов ещё тянуло старой капустой, но под едой лежала вымытая клеёнка. Я поставил поднос со

стаканами и чайник на край борта, закинул ногу и забрался в кузов. Поднял край пустого лотка, показал чистое дно, потом откинул угол покрытия: ни мешка, ни земли, ни листа.

— Правильно говорите, Тамара Лукинична, — сказал я с борта громко и указал на чистое дно лотка. — Потому с утра вымыли кузов, постелили чистое, еду привезли под крышками. Проверьте. А стаканы сейчас при вас и помоем.

Я повернулся к хозяйственной калитке столовой. Там стояла тётя Шура, беззубая, в фартуке, и смотрела на Тамару с интересом.

— Тётя Шура! Ведро кипятка! Из титана!

— Кипяток-то на чай, Данечка? — крикнула она, придерживая калитку плечом.

— На стаканы, тётя Шура! Вот при Тамаре Лукиничне!

— Для Лукиничны хоть два, — сказала она, махнула рукой в сторону Тамары и ушла за калитку.

Через минуту она вынесла ведро, эмалированное, белое, с чёрной щербиной на боку. Над ведром стоял пар. Я взял ведро и поставил его на борт кузова. Пар поднялся над грузовиком, над головами. Я прихватил первый гранёный стакан с подноса кухонными щипцами, опустил в кипяток, прополоскал, покрутил, вынул и поставил на чистое полотенце доньшком вверх. Потом взял второй.

— Цирк, — процедила она и опустила руки с боков. — Цирк устроил.

— Цирк, Тамара Лукинична, это когда фокус, — сказал я, полоща следующий стакан в ведре щипцами. — А у меня чистый стакан. Вы ж сами просили чистоту.

Я мыл стаканы по одному, не торопясь, при всей смене, в пару. На июньской жаре кипяток дымил, и очки у кого-то в первом ряду запотели. Стаканы звенели друг о друга. Люди смотрели на мои руки, как смотрят на фокусника.

Десятый стакан. Одиннадцатый. Двенадцатый.

Тамара стояла у борта с руками в боках и молчала. Её голос повис над площадкой и остыл, как стакан на полотенце.

Я налил чай в первый чистый стакан. Индийский, со слоном, крепкий, красный на просвет. Протянул его вниз, через борт.

— Пётр Кузьмич. Пробуйте.

Кузьмич стоял у борта со своим участком. Он взял стакан, отпил, крикнул, поставил стакан на край борта и посмотрел на Тамару.

— Лукинична! — сказал Кузьмич громко, по-курилочному, и повернулся от борта к Тамаре. — А у тебя стаканы кто моет? Я двадцать лет не видал. Может, их и не моют?

Смена грохнула.

— Правильно, Кузьмич!

— У неё в гастрономе стаканы с прошлого года стоят!

Молодой сварщик откусил свой пирожок. Витёк протянул руку за вторым. Смена ела.

Тамара повернулась и пошла через пути. Она не оглянулась ни разу, и халат на спине у неё натянулся. У крыльца гастронома она обогнула здание, и я услышал из-за угла, от рампы, её голос. Она звала шофёра:

— Жора! Фургон мне на завтра! Помыть! Фургон, я сказала!

Глава 6

Фургон, сказала Тамара Лукинична. Она поменяла оружие. Сила ей не помогла, ломик вернулся к её двери. Страх не помог, стаканы вымыты. Оставалась цена.

Пирожков в этот раз хватило почти на всех. Шестьсот из трёх печей. Последние три я отдал водителю автобуса на Мешеру, как обещал. Он сидел на подножке, толстый, с усами, в майке с надписью «Олимпиада-80».

— Обещал, держи, — сказал я и показал три пальца. — Три.

— Я один просил, — ответил он, беря все три и складывая их горкой на колено. — Один ждал.

— Ты ждал, а это за ожидание.

— Ждал я не тебя, а расписание, — проворчал он и откусил сразу от первого, — но раз такое дело, подожду и завтра.

Он ел все три по очереди, откусывая от каждого, чтобы ни один не остыл. Автобус ждал с распахнутой дверью, и гуринские сборщики сидели внутри, у окон, и жевали.

Кипяток в ведре дымил. Стаканы на полотенце сохли доньшками вверх, их было двадцать четыре, и в каждом стояло маленькое солнце.

Митяй сидел в кабине и ставил на пачке «Примы» палочки огрызком карандаша, по пять, перечёркивая пятую. Пачка кончилась с обеих сторон. Он высунулся из окна и сказал мне:

— Пацан. Это сколько ж их было?

— Шестьсот пирожков. По два в обеде. Проданные обеды сейчас по кассе досчитаем.

Митяй присвистнул.

— И с каждого мой рубль, — сказал он и загнул один палец.

Больше он не спрашивал «посмотрим».

В четверг вечером, в восемь, мы с Митяем в гараже №14 пересчитывали противни. Девочки из столовой выдавали мне противни полными, и их надо было вернуть к двум часам завтрашнего дня, вымытыми, и чтобы все шесть. Я считал. Митяй сидел на ящике и курил в открытую дверь.

— Митяй, — сказал я и присел на корточки рядом с ящиком, досчитывая противни. — На Сормовском мясокомбинате колбасный цех. Когда он отгружает?

— В шесть, — ответил Митяй, не задумываясь, и стряхнул пепел за порог. — Фургоны магазинов стоят с полшестого. Мастер там Зотов, злой. Руки синие. А что?

— Утром поедem.

— В шесть, — Митяй выпустил дым в дверь и проводил его взглядом. — А в семь у проходной.

— Успеem.

— Успеem, — передразнил он и покачал головой. — Ты сколько спишь, пацан?

— Сколько останется.

Тут в гараж вошёл Бугай. Он поставил на ящик жестяную коробку из-под монпансье, в которой держал выручку своего первого дня. Коробка звякнула жидко. Бугай сел рядом на корточки, огромный, с опущенными плечами, как сдувшийся дирижабль.

— Дань, — сказал он и подтолкнул коробку ко мне по ящику. — Смотри.

Я открыл коробку. Выручка рыночного ларька за первый день лежала в ней тонкая, мелкая, бумажками и мелочью. Доля Бугая с неё выходила ещё тоньше.

— До осени так не наберу, — сказал Бугай и провёл ладонью по затылку. — Даже на половину железа не наберу. Я считал.

— Ты считал?

— На пальцах. Два раза. Выходит к Новому году. А Люська сказала «за лето». При всём ряде.

Он поднял на меня голубые, честные, как у телёнка, глаза.

— Отдай мне его сразу. Рыночный. Ну, как подарок. Для Люськи. Я отработаю, Дань, хоть грузчиком, хоть ночами. Ты меня знаешь. Мне к ней через неделю надо с ключом, а не к осени. К осени у весовой другой найдётся. Без центнера лишнего.

— Нет, Толян.

Бугай вздрогнул.

— Ну Дань! Ты ж мне как брат, мы в армии из одного котелка...

— Из одного котелка, — согласился я и поднялся с корточек. — Люська что сказала? Свой. Не под Кузей, не под Грачёвым. Подаришь ей подарок, и это будет мой ларёк, который ты принёс в зубах. Она это увидит первой. Она на весах с шестнадцати лет, чужое видит за километр.

Бугай молчал, и уши у него краснели.

— Вот как будет, — сказал я и повернул голову к Митяю. — При свидетеле. Митяй, слушай.

Митяй бросил окурок за дверь.

— Слушаю.

— Рыночный ларёк переходит к Толяну, когда его доля за лето покроет цену железа и места. Касса за день сошлась, его доля растёт на свою часть. Не сошлась, стоит. Покрыл, и ларёк его. С замком, ключ у него. И это будет уже не подарок, а купленный.

— Как у меня, — хмыкнул Митяй и поднял с ящика огрызок карандаша. — С порции.

Бугай посмотрел на Митяя, на меня, на жестяную коробку. Потом стал загигать пальцы. Загнул все десять, разогнул, загнул снова, и на втором десятке взял у Митяя его карандаш. Считал, сколько ему продавать в день, чтобы к августу.

— Это ж, — сказал он медленно и поднял на меня глаза, — это ж втрое больше, чем сегодня.

— Втрое.

— Тише едешь — дальше будешь, — пробормотал Бугай и снова загнул первый палец. — А втрое — это как ехать быстро.

— Быстро, Толян. Зато приедешь.

Бугай посидел, потом встал во весь рост, под лампочку, так что мотыльки шарахнулись.

— Втрое, — сказал он и опустил руку с карандашом. — Ладно.

И перестал ныть. Совсем. Он забрал коробку и ушёл, и я слышал, как он в темноте гаражного ряда бормочет цифры.

В пятницу, двадцать шестого, без десяти шесть утра ГАЗ-53 стоял у ворот колбасного цеха Сормовского мясокомбината.

Из открытых дверей цеха шёл холодный пар и запах. Такой запах, что Митяй в кабине сглотнул. Чеснок, копчение, горячий жир, чёрный перец. Запах, которого в июне девяносто второго большая часть Сормова не нюхала с Нового года. У рампы стояли фургоны с надписями «Хлеб» и «Продукты», из них торчали шофёры. Грузили ящики с колбасой.

Мастер Зотов стоял у весов на рампе. В белом халате, в белом колпаке, высокий, с узким лицом. Руки у него были синие. Не от холода: от холодильника, от ледяных туш, от двадцати лет в минус пяти. Синие, толстые, с белыми костяшками. Он отгружал фургонам по бумажкам и не смотрел ни на кого.

Я поднялся на рампу.

— Товарищ мастер.

Зотов на меня не посмотрел.

— Мне свежую партию. Докторской. Ящик. Наличными.

— Свежее только своим магазинам, — сказал Зотов и наконец посмотрел на меня, как на муху. — По разнарядке. За чужую отгрузку меня снимут. Меня снимут, а тебя не снимут. Иди, парень.

— Зотов, не мучай пацана! — крикнул кто-то из фургона «Хлеб», высунув голову из кабины. — Дай ему сосиску!

— Сосиска по разнарядке! — огрызнулся Зотов и постучал синим пальцем по накладной, где каждая палка была записана.

Я в первой жизни покупал мясокомбинаты целиком. Я знал, что лежит у такого цеха на задворках.

— А обрезать? — спросил я, не сходя с рампы, и положил руку на край весов.

Зотов перестал писать.

— Какая обрезать?

— Концы батонов. Докторская, отдельная. Горбушки с двух сторон, куда петля и зажим. Вы их на фарш кидаете. Фарш по разнарядке идёт?

Зотов посмотрел на меня внимательнее.

— Фарш идёт по цене фарша, — сказал он медленно и повернулся ко мне всем корпусом. — Кому угодно. Это отходы.

— Значит, мне обрезать. По цене фарша. Два ящика. Наличными.

— Ты, парень, откуда такой?

— Из Сормова, с Коминтерна. Мать в заводской столовой тесто ставит.

— Из столовой, — Зотов хмыкнул. Он кивнул в сторону, на ящики у стены, накрытые марлей. — Вон там.

Там лежали концы батонов, розовые, с кругами жира, с кожурой на торце, с верёвочками. Та же колбаса, что в фургонах магазинов, из того же котла. Только короче.

Он отпустил мне два ящика. Я отсчитал деньги ему в руку. Зотов сунул их в карман халата.

Потом он сделал то, чего я не ожидал. Он взял с подоконника цеха пачку картонных бирок на верёвочках, штемпельную подушку и печать. Он прижал печать к подушке и шлёпнул по бирке. Вышел фиолетовый штамп: «Сормовский мясокомбинат. Колбасный цех. Сорт. Дата выработки. Смена 1». Зотов дописал дату химическим карандашом, посплюнвив его, привязал бирку к ручке первого ящика, шлёпнул вторую и привязал ко второму.

— Каждый ящик с моей биркой, — сказал он и постучал синим пальцем по привязанной картонке. — Без бирки не отпускаю. Так и знай, парень. Чтоб потом не говорили, что Зотов краденое продаёт.

— Каждое утро в шесть, — сказал я и кивнул на бирки обоих ящиков.

— В шесть, — сказал Зотов и отвернулся к накладной. — Опоздаешь, отдам на фарш.

Я держал ящик с биркой. Картонка на верёвочке шуршала на утреннем ветру. На ней был штамп, который поставил не я. Дата, которую написал не я. Бумажное лицо колбасы.

У меня была честная колбаса дешевле Кузиной гнили.

В девять утра у больничных ворот всё было как вчера.

Рябой в кепке сидел в своём сером ларьке. На картонке красовался ценник, и к окошку тянулась очередь человек в десять. У Тюленя в окошке стояли кефир, сушки, а теперь ещё и обрезать: на полке, на чистой бумаге, лежали розовые концы батонов срезом к покупателю. На ящике висела бирка. Я поставил цену дешевле, чем у рябого. Обрезать по цене фарша это позволяла.

Очередь стояла у Кузи. У Кузи батон был целый, длинный, красивый. У меня были концы. Концы — это когда тебе отдают то, что осталось.

— Почему не берут? — зашептал Тюлень и вытер ладонь о фартук. — Дешевле же!

— Потому что концы, Тюлень. Человек в больницу несёт красивое.

— А мы чего?

— А мы сейчас купим красивое.

Я подошёл к Кузиному окошку и встал в очередь. Рябой увидел меня и заухмылялся.

— Чего тебе, торгаш? Нормальной колбаски захотел?

— Батон, — сказал я и показал на целый. — Целый.

— Гена сказал — всем можно, — сказал рябой и придвинул батон к окошку. — Мы не жадные.

Я заплатил его цену и взял батон в серой бумаге. Потом отошёл к Тюленеву окошку, положил батон на полку, на чистую бумагу, достал из кармана армейский нож и раскрыл его. Лезвие щёлкнуло. Очередь у Кузи обернулась на щелчок.

— Ты чего это, парень? — спросил кто-то, вытягивая шею из-за плеча соседа. — Свою режь, а чужую чего?

— За цену заплатил, имею право знать, за что, — сказал я и повернул батон на полке другим концом.

Я распустил батон вдоль, одним длинным движением, от края до края, как хирург выпускает брюхо. Лезвие шло туго. Потом половинки разошлись.

Внутри было серо-зелёное, в середине почти жидкое, с тёмными жилами, с белыми хрящами, с пузырями. По краю шла розовая корка: краска. Запах поднялся над полкой сразу, сладковатый, тухлый, тяжёлый. Он дошёл до третьего человека в очереди.

— Господи, — прошептала женщина с сеткой, та самая, вчерашняя, с усталым лицом, и прижала сетку к груди. — А я ж на полкило хотела...

— Краска! — ахнул кто-то и схватил соседа за рукав, потянув к полке. — Гляди, краска по краю!

— Тьфу ты, мерзость! — сплюнул мужик в конце очереди и отступил на полшага назад.

Очередь отошла от Кузиного окошка. Сначала на шаг, потом на два. Тюлень в окошке заулыбался во весь рот. Всё шло ко мне.

Рябой выскочил из ларька, и кепка слетела. Под кепкой он оказался белобрысым и лысеющим на макушке, хотя ему было лет двадцать. Он заорал на всю остановку:

— Ворованная! У него колбаса ворованная с комбината! Люди! Вы гляньте! Откуда у пацана с ларька бирки?! Откуда у простого человека концы батонов?! Это ж с цеха прут! Возьмите, вас и повяжут! Вот он где, у больницы, милиция каждый день ходит!

Очередь замерла посередине, между двумя окошками, как стоят на перекрёстке, когда все светофоры мигают жёлтым.

— Ворованная? — женщина с сеткой сунула купленную у Кузи колбасу поглубже, под кефир, и оглянулась на трамвайную платформу. — А сержант-то вон ходит, с рацией...

— За мешок краденой муки Витьке с пятого цеха условно дали, — сказал мужик в конце очереди соседу вполголоса, прикрыв рот ладонью. — Год по судам таскали.

— Тогда ну её, — сосед отодвинулся от моего окошка на шаг и пересадил сетку с одной руки на другую.

Рябой поднял кепку, надел её козырьком назад и заулыбался.

Ближе всех ко мне стояли двое. Пожилой мужик в кепке и пиджаке поверх рубашки держал сетку с двумя бутылками кефира и газетой. Рядом с ним стояла молодая женщина с ребёнком на руках. Ребёнок, лет двух, сосал палец и смотрел на мой нож.

— Отец, — сказал я мужику и закрыл лезвие ножа. — Вы к кому?

— К жене, — сказал мужик и переставил сетку с кефиром в другую руку. — Третья палата. Желчный.

— Поехали со мной на комбинат. Двадцать минут туда. Посмотрите, у кого я беру, своими глазами. Вернёмся, купите или нет, как решите.

Моим словам очередь уже не верила, словам рябого тоже. Ей нужны были свои глаза.

Мужик посмотрел на меня, потом на грузовик. Митяй подогнал ГАЗ-53 к остановке и курил в окно при работающем моторе.

— А не завезёшь куда? — спросил мужик прямо и поглядел на номер грузовика. — Я тебя знать не знаю.

— И не надо знать, отец. Вы на мастера посмотрите.

— Я не могу, — качнула головой женщина с ребёнком и прижала его повыше на локте. — Я очередь потеряю, мне к мужу к десяти.

Я достал из кармана связку, снял ключ от Тюленева ларька и отдал мужику в руку.

— Держите. Пока не вернёмся. Без этого ключа мне здесь торговать нечем.

Мужик взвесил ключ на ладони и посмотрел на Тюленя. Тюлень развёл руками: мол, правда, без ключа никак.

— Ну, поехали, — сказал мужик и сунул ключ в карман пиджака, поверх рубашки.

Из очереди вышел ещё один, парень лет двадцати пяти в спортивной куртке, с банкой компота.

— И я. Мне тоже интересно, где у тебя бирки растут.

Кабина у ГАЗ-53 на троих. Митяй, мужик в кепке, парень с компотом. Я залез в кузов, встал у пустого ящика и взялся за борт.

— Держись.

Грузовик рванул. Я ехал стоя, как ездят на параде, и ветер бил в лицо, и Сормово несло мимо: трамвайные пути, тополя, девочка с бидоном, ларёк на Коминтерна, Колян в окошке, который поднял руку, увидев меня в кузове, и так и остался с поднятой рукой.

В десять грузовик стоял у ворот колбасного цеха. Зотов вышел на рампу, увидел меня, мужика в кепке и парня, и сдвинул брови.

— Это кто?

— Покупатели, — сказал я и обошёл грузовик, открывая им вид на рампу. — Хотят посмотреть, у кого я беру. Ящик обреза, товарищ мастер. По цене фарша.

Зотов посмотрел на мужика в кепке. Мужик в кепке смотрел на Зотова, на его белый халат, на его синие руки.

— Накладная вот, — Зотов хмыкнул и ткнул пальцем в накладную, — печать вот.

Он сходил к стене, вынес ящик обреза, шлёпнул печатью бирку, похлопал карандаш, написал дату и привязал бирку к ручке. Поставил ящик в кузов. Я отсчитал деньги ему в синюю руку, при них.

Мужик в кепке откашлялся.

— Это вы ему продаёте?

— Я, — сказал Зотов и кивнул на купленный ящик. — Обрезь. По цене фарша. Законно. — И, помолчав: — Мы её на фарш кидаем, а фарш потом в столовую, а в столовой его тоже не видят. Хоть кто-то съест как людям.

Мужик кивнул.

— А Кузину колбасу вы делали? Серую?

Зотов посмотрел на него так, что мужик отступил на шаг.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.